

---

## «Особая стилистика» биографа, или Непосильная Цветаева

DOI: 10.31425/0042-8795-2018-3-84-122

### Татьяна Михайловна Геворкян

доктор филологических наук

литературовед, член Союза писателей Армении

(респ. Армения, г. Ереван, ул. Овсепя Эмина, д. 123;

email: tatgev@yandex.ru)

**Аннотация.** Статья представляет собой развернутый критический отклик на книгу Ильи Фаликова «Марина Цветаева. Твоя неласковая ласточка», вышедшую в Большой серии «ЖЗЛ» (2017). В отличие от предшествующих биографов Цветаевой Фаликов имел в своем распоряжении обширный материал, введенный в оборот за последние двадцать лет. Тем не менее сделанную им попытку нового жизнеописания поэта нельзя назвать удачной. В статье вскрывается целый ряд фактических ошибок, выявляются случаи недобросовестного цитирования, носящие системный характер и приводящие к искажению образа Цветаевой. Особое внимание уделяется вольному обращению с документальными источниками, их тенденциозному порой отбору и преподнесению, а также не обеспеченным серьезной базой интерпретациям и претензиям автора.

**Ключевые слова:** М. Цветаева, И. Фаликов, биография, фактический материал, жанровое и стилистическое несоответствие теме.

Статья поступила 30.09.2017.

«Поэт» и «человек» суть две ипостаси одной личности. Поэзия есть проекция человеческого пути.

*Владислав Ходасевич*

Театр начинается с вешалки, книга — с аннотации. Аннотацию зачастую пишет сам автор, а если не пишет, то, во всяком случае, одобряет. Вот что написал или одобрил Илья Фаликов (далее — ИФ<sup>1</sup>): «Новую книгу о Марине Цветаевой <...> востребовало новое время, отличное от последних десятилетий XX века, когда триумф ее поэзии породил огромное цветаеведение. По ходу исследований, новых находок, публикаций открылись такие глубины и бездны, в которые, казалось, опасно заглядывать. Предшествующие биографы, по преимуществу женщины, испытали шок на иных жизненных поворотах своей героини. Эту книгу написал поэт. Восхищение великим даром М. Цветаевой вместе с тем не отменило трезвого авторского взгляда на все, что с ней происходило: с этим связана и особая стилистика повествования»<sup>2</sup> [Фаликов 2017].

Зачем все это вколачивается в аннотацию? Ведь она, по лаконичности своей, не позволяет уважительно поименовать «предшествующих биографов» (по крупичкам собиравших материал в те годы, когда тексты Цветаевой разыскивались в зарубежной периодике, пылящейся по спецхранам, и в частных архивах, когда и речи не было ни о каком собрании сочинений, когда архив самой Цветаевой был закрыт на десятилетия, а ее переписка только-только начинала публиковаться) и вместо небрежно брошенного «по преимуществу женщины» в открытую сказать, кто именно и от чего «испытал шок», кто не отважился заглянуть в «глубины и бездны», которые ныне покорились «особой стилистике» поэта-мужчины.

---

<sup>1</sup> Надеюсь, что сокращением этим никоим образом не задеваю автора, он ведь сам подсказывает такую форму: Цветаева у него если не просто Марина, то МЦ.

<sup>2</sup> Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.

Эта часть аннотации рекламной грубостью своей переключается с публичным высказыванием В. Маяковского, которое Цветаева не без горечи цитирует в письме к Б. Пастернаку: «Книжный продавец должен еще больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердым намерением взять, например, Цветаеву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки, — Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина!» [Цветаева, Пастернак 2004: 237]. Письмо это ИФ приводит в своей книге (с. 491—492), не замечая, вероятно, очевидного созвучия смыслов.

Но вернемся к аннотации. К концу ее снова возникает тема «нового времени»: «Судьба Марины Цветаевой в сегодняшних условиях, не требующих поэта, убивающих поэта, может сама по себе поразить читателя». «Что бы она», «ярая антирыночница», «делала в наши дни?» Судьба Цветаевой в выпавшем на ее долю времени так трагична и поразительна, что нет, полагаю, никакой необходимости примерять на нее — с целью потрясти воображение читателя — еще и наши дни. Но, имея в виду, что, по признанию самого автора, книга его о великом поэте писалась в рыночные, глухие к поэзии времена, стоит разобраться, не наложили ли они свой отпечаток на новое повествование о жизни Цветаевой.

Теперь о том, чего ни в аннотации, ни в предисловии (его вовсе нет), ни в послесловии (вместо него на с. 840—842 приведены два стихотворения ИФ, призванные, по замыслу автора, засвидетельствовать его «непрерывную верность цветаевскому присутствию») не сказано. А именно: нынешняя попытка биографии впервые опирается на обширнейший материал, который постепенно вводился в оборот начиная с 1997 года, когда увидели свет «Сводные тетради». Между тем С. Карлинский издал вторую свою книгу о Цветаевой в 1984 году; третье, переработанное и дополненное, издание «Скрещення судеб» М. Белкиной увидело свет в 1999-м; А. Саакянц главную свою книгу «Марина Цветаева. Жизнь и творчество» издала в 1997-м; книга В. Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой» впервые была издана в 1988 году.

Когда она готовила ее в 2002-м для серии «ЖЗЛ»<sup>3</sup>, то пересматривать основной корпус книги не стала. Лишь добавила несколько глав. Второе, исправленное и дополненное, издание книги «Путь комет» И. Кудровой увидело свет в 2007 году, следовательно, она имела возможность использовать новые источники. Но основной корпус ее книг состоялся все же много раньше, а досоздавать биографическую книгу не то же самое, что писать ее наново, изначально располагая всем сводом достоверных сведений.

Перечислю главное из вновь опубликованного. Вслед за «Сводными тетрадами», положившими начало новому этапу возвращения Цветаевой, непрерывной чередой, по преимуществу трудами Е. Коркиной, стали издаваться извлеченные из архива письма членов цветаевской семьи и ее окружения («Семья: история в письмах», 1999); «Записные книжки» Цветаевой (2000–2001), составившие два тома; письма к К. Родзевичу (2001); переписка с Н. Гронским (2003); переписка с Пастернаком, включающая письма Цветаевой, считавшиеся безвозвратно пропавшими, но восстановленные по тетрадным черновикам (2004); «Дневники» сына Цветаевой Георгия Эфрона (2007), два полновесных тома которых заняли законное свое место среди новых и старых изданий его матери. А еще небольшая, но совершенно бесценная пачка писем к Н. Гайдукевич, чудом восставшая из пепла, точнее — из чердачной пыли старого дома в Вильнюсе, и изданная (2002) при активном содействии Л. Мнухина. Он же составил двухтомник «Марина Цветаева в критике современников» (2003), а в 2012–2015 годах выпустил три тома (сейчас их уже пять, называю только те, что использовал ИФ) писем Цветаевой, в том числе вновь обнаруженных и опубликованных, располо-

---

<sup>3</sup> Видимо, по недоразумению в Краткой библиографии выдержавшая два издания в серии «ЖЗЛ» (2002, 2007) книга В. Швейцер не упомянута. Там дается лишь отсылка к изданию 1992 года, к этой серии и доработанному составу книги отношения не имеющему.

жив их в хронологическом порядке, а не по персоналиям и создав таким образом очень удобную для биографа эпистолярную хронику.

Разумеется, все эти издания включены автором в Краткую библиографию. А в подстрочном примечании к ней даже сказаны слова восторга или одобрения некоторым из биографов-предшественников (С. Карлинский и М. Белкина там не названы — видимо, ни восторга, ни одобрения не заслуживают). При этом вопрос об испытанном кем-нибудь «шоке», естественно, не затронут. И ни слова не сказано о том, каким подвижническим был их труд в условиях весьма ограниченного доступа к фактическому материалу.

Не в пример им ИФ вошел в тему в очень благоприятное время, действительно как будто только и ждавшее нового биографа. Во всяком случае, все для него подготовившее. Остается лишь увидеть, как он распорядился выпавшим ему преимуществом, как, будучи поэтом и *мужчиной*, «ту же тему» «обработал».

Обработка (и какая интенсивная!) начинается с первых же слов: «У нее была врожденная близорукость. Прищур был привычкой» (с. 8). Между тем общеизвестно, что в детстве Цветаева долгое время носила очки, а значит если и щурилась, то эпизодически, потом от очков отказалась, но, по словам А. Эфрон, «мать сама себя сделала смолоду <...> заставляла себя не сутулиться, держаться прямо и не пытаться разглядывать то, что при своей близорукости увидеть не могла» [*Марина...* 2002: 29], и в последние годы жизни «ничем не выдавала своей близорукости, не щурилась, не подносила ничего близко к глазам, не наклонялась к предметам. Держалась так, словно у нее было отличное зрение» [Белкина 2005: 15].

Зачем понадобилась биографу эта маленькая ложь, становится понятно из следующего предложения: «По-видимому, свет в таких случаях приобретает некоторую сумеречность, как под водой, и девочки делаются русалками. Или морской пеной». И еще из одного, совсем недалеко от него отстоящего: «Возможно, так видят кошки в темноте».

Такой вот полет поэтического воображения, на мой вкус, абсолютно неуместный, к тому же — совсем не безобидный. Ибо все на той же странице, при- и даже заземлившись и перейдя к выводам, ИФ пишет: «Флора и фауна у Цветаевой условны, на уровне слова, а не растения или существа как такового. Она, как говорят на Русском Севере, *недовидела*» (курсив авторский, с. 8). Не знаю, что вкладывают в этот глагол на Русском Севере, но словарь Вл. Даля дает ему такое толкование: «Плохо видеть, у кого зрение слабое, недалекое». Одним словом, близорукость, которая была уже оглашена ранее. Что к ней добавил нажим курсива? Добавил желание дочитать словарную статью до конца и узнать, что есть производное — *недовидок*, со значением «недальновидный человек». Вольно или невольно, но первая страница новой биографии удочерила и это значение.

А на переходе к следующей появляется и конкретный пример цветаевского «недовидения»: «Ее рябина — “особенно рябина” — не дерево, а куст, а в реальной природе это не так, поскольку куст, как сказано в словарях, — “древовидное растение” и оно “малорослее дерева”» (с. 8—9).

Интересно, это нам, читателям, или Цветаевой растолковывает биограф, в чем разница между деревом и кустом? И почему он думает, что эта разница обеспечивает («*поскольку*») безупречность его утверждения — «в реальной природе это не так»? То есть что рябина — это точно не куст. Стоило бы не к толковому словарю (словарям!) обратиться, а к энциклопедии растений, где черным по белому написано: рябина — листопадное дерево или кустарник. Не говоря уже о том, что довольно странно русскому поэту этого не знать без всяких справочников.

Цветаева знала. Поэтому в стихотворении «Тоска по родине! Давно...» с полным правом сказала:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  
И всё — равно, и всё — едино.  
Но если по дороге — куст  
Встает, особенно — рябина...

И в том же 1934 году уже о рябине-дереве написала:

Рябину  
 Рубили  
 Зорькою.  
 Рябина —  
 Судьбина  
 Горькая.  
 Рябина —  
 Седыми  
 Спусками...  
 Рябина!  
 Судьбина  
 Русская.

Вернувшись теперь к рассуждениям ИФ, увидим, что уличения в неточности продолжаются: «Цветаевская рябина — символ России, а ведь ее, рябины, полно во всей Европе, во всей Азии и в Северной Америке». На сей раз упрек, правда, смягчается отсылкой к Вяземскому («Другое дело, что задолго до Цветаевой <...> князь Петр Андреевич Вяземский на швейцарском курорте <...> наткнулся на рябину, появилось стихотворение “Вевейская рябина”») и окончательно растворяется в миролюбивом — «поэты нередко редактируют природу» (с. 9).

И все же в чем на сей раз усмотрена неточность? В том, что рябина, а не береза? А разве она в других странах не растет? Еще как растет — красуется, например, среди черных и красных дубов на Лонг-Айленде. А как быть с кленовым листом на флаге Канады? Разве клен нигде, кроме Канады, не растет?

И, наконец, так ли уж необходимо было идти через «Вевейскую рябину» к цветаевскому символу России? В статье ИФ «Высокий берег» читаем: «Мандельштамом сказано: “не сравнивай: живущий несравним”, но сравнения возникают сами по себе <...> однако лучше всего сравнивать поэта с ним самим, и тогда обнаружится тайная последовательность его прихотливой мысли» [Фаликов 2001: 104].

Золотые слова. Но по какой-то непонятной причине к Цветаевой, чья лирика склонна была годами длиться, варьировать и развивать ту или иную тему, этот подход (и не только здесь, но на всем протяжении книги) не применя-

ется. Иначе наверняка «само по себе» вспомнилось бы ее стихотворение 1916 года, которое — через *день* рождения — связало и *место* рождения с рябиной, сделало рябину символом родины:

Красною кистью  
Рябина зажглась.  
Падали листья.  
Я родилась.  
.....  
Мне и доньне  
Хочется грызть  
Красной рябины  
Горькую кисть<sup>4</sup>.

А еще могло бы вспомниться стихотворение 1918 года, где о старшей дочери, тоже родившейся в сентябре, сказано:

Сивилла! — Зачем моему  
Ребенку — такая судьбина?  
Ведь русская доля — ему...  
И век ей: Россия, рябина...

И тогда стала бы ясна последовательность *цветаевской* мысли (отнюдь, кстати, не тайной), продленной во времени и охватившей без малого два десятилетия. А «русский виноград» Вяземского мог бы справедливо сыграть роль дополняющего штриха, а не первоисточка темы.

---

<sup>4</sup> Справедливости ради скажем, что оно все-таки вспомнилось, но ближе к концу книги, и опять не «само по себе», а в интересах некоего композиционно-речевого приема. Дойдя в своем повествовании до 1934 года и приведя «Тоску по родине...» (под ней дата — 3 мая) целиком, ИФ пишет: «Это рябина из того 1916 года, из той юности, когда они с Мандельштамом ходили то по захолустному кладбищу, то по колокольню-купольной столице» (с. 693). И, обеспечив таким образом переход к следующему абзацу, продолжает: «В ночь на 17 мая 1934 года Мандельштама арестовали...» Считая, вероятно, что этим — в пределах одного месяца — совпадением вскрыта мистическая связь двух поэтов.

Неблагополучно как-то с логическими связями, со вкусовыми предпочтениями и смысловыми акцентами у нового биографа Цветаевой...

И, к сожалению, не только с ними.

Вот, только что «разобравшись» с истоком цветаевской рябины, он, крайне неудачно перефразируя известные строки А. Ахматовой, пишет: «Стихи часто растут из стихов, равно как из человеческих слабостей и дефектов автора» (с. 9). И к концу *так* начатого абзаца подытоживает и его, и полуторастраничную увертюру к первой главе, а по сути ко всей книге, возвратом к близорукости: «Как же она ходила по белу свету? Как русалка в воде, как кошка в темноте? Да нет. Она была человек. Это ее главная проблема» (с. 9). Возвратом к близорукости, которая сперва была переименована в «недовидение», потом — метонимически, с пропуском очевидного (дефект зрения) — превратилась в «дефект автора» и наконец открыла, по мысли автора, главную проблему Цветаевой-человека.

Удивительная — особенно для поэта — нечуткость к слову. И отнюдь не единожды явленная.

Взять хотя бы название книги. Серия «ЖЗЛ» его не требует. Можно просто — Шекспир, Пастернак, Анна Ахматова, Михаил Булгаков. Но исключения бывают. И одно из них перед нами:

## МАРИНА ЦВЕТАЕВА ТВОЯ НЕЛАСКОВАЯ ЛАСТОЧКА

Что бы это значило? Неласковая ласточка Цветаевой? Или сама Цветаева для нас — неласковая ласточка? Первый случай вызывает ряд новых вопросов. Второй к вопросам не располагает, только к недоумению, к тем большему недоумению, что вскоре за названием последуют кошки и русалки. Впрочем, один вопрос все же возникает: откуда эта ласточка залетела на титульный лист книги?

На него автор не сразу, но отвечает. Он нашел ее среди «стихотворных набросков» Цветаевой. Пленился «редкостной по красоте строкой» и сказал о ней: «Не важно, кому или чему это адресовано. Мужчине, миру, небу, поэзии —

объект не имеет значения. Возможно, это и вообще не о себе. Смыслов — множество. Душа? Муза? Родина?» (с. 312).

Из всех предположений ИФ справедливым на проверку окажется лишь то, что «это и вообще не о себе». Но сам он этого не понял. Хотя понять было нетрудно. Точнее — услышать. Ибо вскоре после своих размышлений о «неласковой ласточке», на странице 320, он говорит о встрече Цветаевой с Андреем Белым в Берлине и приводит его письмо к ней:

Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна <...> в эти последние, особенно тяжелые, страдные дни Вы опять прозвучали мне: *ласковой, ласковой* удивительной нотой: доверия <...> Знаете, что за день был вчера для меня? Я окончательно поставил крест над Асей... И мне показалось, что вырвал с Асей свое сердце; и с сердцем всего себя; и от головы до груди была пустота <...> И когда я появился вечером — опять повеяло вдруг, неожиданно, от Вас: *щебетом ласточек*, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина — есть, и что ничто не погибло... (Курсив мой. — Т. Г.)

Приводит и идет мимо, на ходу сказав — «замечательное письмо». А между тем, получив это письмо (И. Кудрова датирует его 26 июня, А. Эфрон — без уточнения числа — июнем), Цветаева, подхватив его волну, написала 26 июня стихотворение с такой концовкой:

Гляди: не Логосом  
Пришла, не Вечностью:  
Пустоголовостью  
Твоей щебечущей

К груди...  
— Не властвовать!  
Без слов и на слово —  
Любить... Распластаннейшей  
В мире — ласточкой!

Может быть — случайность? Нет, конечно. А если нет, то, услышав адресованную ей «ласточку» (определенно *ласковую* ласточку) и отреагировав на нее стихом, кому и о ком могла она сказать — «твоя неласковая ласточка»?

С Асей Тургеневой Цветаева была знакома по Москве — встречались не раз в «Мусагете». В «Пленном духе» есть сценка первого ее гощения у Аси, тогда еще только невесты Андрея Белого:

...Зоркое безмолвие застывшей передо мной Аси — в барсовом плеле.

— Какая киса чудная!

— Барс.

— Барс, это с кистями на ушах?

— Рысь.

(Не поговоришь!) Оттянув к себе барсью полу, глажу, счастливая, что нашла себе безмолвное увлекательное занятие. И вдруг, со всей безудержностью настоящего откровения:

— Да вы сама, Ася, барс! Это вы с *себя* шкуру сняли: надели.

Чудный смех, взблеск чудных глаз... [Цветаева 1999: IV, 229–230]

Полагаю, не будет слишком большой смелостью предположить, что в обращении к Андрею Белому, переживающему в те дни удар разрыва, Цветаева где-то рядом со стихотворением написала, имея в виду Асю: «Твоя неласковая ласточка».

«Сводные тетради», откуда взята эта строка, идут на встречу такому предположению. Надо только иметь в виду, что они редко дают точную дату, ее с тем или иным приближением удается установить по промежутку между двумя временными метками. В данном случае между началом июня (неиспользованная строфа стихотворения «Лютая любовь...») и началом июля («Удостоверишься — повремени!»). Таких тонкостей, как варианты стихов, биограф мог, разумеется, не знать. Но он достаточно широко пользовался «Сводными тетрадями», чтобы почувствовать их специфику, не принять дату 31 мая, относящуюся к конкретной записи, за общую «шапку» к нижеследующему ряду записей и поэтических набросков и не прийти (смутно сославшись на «промелькнувшее в письмах» «имя Эренбурга») к ошибочному выводу: «...под тем же числом <...> светится отдельная, одинокая <...> строка».

Дело, однако, не только в специфике источника. Услышь поэт-биограф «ласточку» в письме Белого и в откликнувшемся ему стихотворении Цветаевой, он, полагаю, избежал бы неверного вывода и, хочется думать, не вынес бы на титульный лист такое несуразное для биографической книги название. Впрочем, очевидно, что писал ИФ ее как очень условно биографическую. Выработывал не только стилистику особую, но и жанр, о некоторых принципах которого, вызывая все то же недоумение, поведал читателю.

Например, так: «В моем тексте немало незакавыченных цитат, как это делается в поэзии, к каковой, смею надеяться, прикосновенна эта книга» (с. 140).

Или так:

Возникает вопрос: не превращаем ли мы наше повествование в комментарий к эпистолярию? Ответ есть. Во-первых, зачастую нет никаких свидетельств — кроме писем. Во-вторых, чаще всего письмо и есть лучшее свидетельство. Но еще верней — все-таки стихи (с. 174).

Или вот так: «Моя книга — о том, что происходило в сознании МЦ или могло его коснуться» (с. 794).

Добавим сюда эпиграф, к биографическому жанру напрямую относящийся: «Хронология — ключ к пониманию».

Наконец, слова автора о том, что использовал он только достоверные факты, не гоняясь за непроверенными слухами [Терешин 2017].

И возьмем на себя труд показать, как эти принципы и установки претворены на страницах объемистого тома, с обостренным вниманием относясь при этом к комментариям ИФ и не забывая, что к выбору тех, а не других писем, равно как и к пропускам при их цитации, «прикосновенна» рука автора, а значит, и здесь мы имеем дело со своего рода комментарием. Неявным комментарием, который легко может ввести в заблуждение — не всякий же читатель знает, о чем и как написано в процитированных письмах и что скрыл знак пропуска в процитированных. А уж какой простор для трудноуследимого автор-

ского присутствия дают незакавыченные, лишенные точности и авторства цитаты, даже говорить не стоит.

Но начнем все же с другого. Очень любит ИФ исправлять чужие огрехи — делает это с нескрываемым удовольствием.

Вот он нашел неточность в «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой. «Ошибка, — фиксирует он. — Эта ансамблевая постройка мавританского стиля была сооружена архитектором Н. Г. Тарасовым как раз в Заречье, причем позже» (с. 31).

Вот наткнулся на очевидную опечатку в поэтической строке. Реакция суровая — наставническая: «Сложился цикл “Стол” из шести стихотворений, концовку последнего, шестого, печатают поныне неверно <...> Печатают: “— Порох! Душа при вскрытии”. Порох тут ни при чем, “порх” означает отлет души» (с. 670). Разумеется, должно быть «порх», но зачем же так грубо одергивать?

А наткнулся, скорее всего, в собрании сочинений, опечаток там, к сожалению, немало. И всем, кто серьезно занимается Цветаевой, это известно. Поэтому всегда, когда возможно, пользуемся подготовленным Е. Коркиной томом «Библиотеки поэта» [Цветаева 1990], текстологически это самое надежное, выверенное по хранящимся в архиве тетрадям издание. Если бы ИФ это знал, то избежал бы целой цепочки ошибок. Не стал бы, например, утверждать, что в цикле «Стол» шесть стихотворений — их пять, и то, в котором замечена опечатка («Квиты: вами я объедена...»), в цикл не входит (см.: [Цветаева 1990: 764—765]). То же и с циклом «Надгробие»: ИФ пишет, что в нем четыре стихотворения (с. 710), а на самом деле — три, «Оползающая глыба...» Цветаевой в цикл не включена, и понятно почему: стихотворение это написано за шесть лет до смерти Н. Гронского и к «надгробию», естественно, отношения не имеет (см.: [Цветаева 1990: 743, 746]). И к циклу «Стихи сироте» ИФ, доверившись собранию сочинений, прибавил одно стихотворение («В мыслях об ином, инаком...») (с. 743, 748). А вот с чего он взял, что стихотворение «Есть час на те слова» «позже <...> будет перенесено в уже существующий цикл “Сугробы”: эренбургский» (с. 307), ума не приложу. Если авто-

ром был найден какой-то неведомый источник, ему следовало бы на него сослаться.

Впрочем, все эти оплошности, так сказать, технические. Досадные, конечно, но не настолько, чтоб уделять им много внимания. Мы и не стали бы, если б не строгость к чужим ошибкам самого ИФ. Но он не только строг и последователен, но и грубоват в выискивании неточностей — в том числе у самой Цветаевой. С нескрываемым раздражением пишет он о «путанице» в цифрах<sup>5</sup>, об искаженном написании фамилий и отчеств, о ее неумении запомнить названия учреждений, комитетов, союзов: «МЦ, по странному устройству ее мозга <...> постоянно путала инстанции» (с. 660)... Словом, исправлений и нареканий много.

Особенно претит ему то, что с какого-то момента Цветаева стала свой возраст уменьшать, и мужа стала «умолаживать», и даже дочь. Он так увлекся слежкой за ее отступлениями от календаря, что, обнаружив в письме к Ю. Иваску правильную дату рождения, не удержался — прокомментировал: «Это откровение связано и с седой головой, и с тем фактом, что Иваск задумал книгу о ней» (с. 689). Не удержусь и я и скажу, что заявленная в аннотации «особая стилистика» нередко оборачивается в книге просто дурным слогом (у ИФ то сын Цветаевой «*произрастает*», то дочь, то герой поэмы, а сама она «представляет Тесковой» «свой отчет о *проистекающих* событиях» (ни из чего, впрочем, не проистекающих, просто — текущих), а еще «*обзаводится*» то «приятельницей», то — чуть далее по тексту — «сковородками и кастрюльками», не отстает от нее и муж — «готовится к прыжку, бессмысленному по результату»; примеров много, не все же выписывать). А если по существу, то седая голова тут совсем ни при чем: письмо написано в 1934 году, стихи о ранней седине Цветаева написала еще в 1922-м, а сесть начала и того раньше. К тому же они с

---

<sup>5</sup> Забавы ради приведу пример отношений самого биографа с арифметикой (речь в цитате о переписке Цветаевой с Рильке, курсив авторский): «Отсечем эти *семь* месяцев от первого письма к нему (9 мая 1926 года) до последней записки (7 ноября)» (с. 514).

Иваском жили в разных городах, и встретиться им довелось заметно позже, то есть седую голову в разговоре с ним вполне можно было не брать в расчет.

Зачем подтасовывать? И зачем доходить до абсурда? Иначе комментарий к стихотворению «Пора! Для *этого* огня...» не назовешь. Приведа его целиком и обостренно почувствовав в нем, кажется, только цифровое несоответствие, ИФ пишет: «Стихов очень немного, и они об одном: стара. Последние лет двадцать она урезала свой возраст, теперь — преувеличивает: пятидесяти январей еще нет» (с. 799). Да, она написала «Пятидесяти январей / Гора!», а ей в это время, в январе 1940 года, *сорок семь с половиной*. Может, так и следовало обозначить свой возраст в поэтической строке? И еще одно: многократно повторенное «стара» отнюдь не главное в этом стихотворении — оно о близкой смерти, которая уже поселилась в груди:

Но боль, которая в груди,  
Старей любви, старей любви.

Новый биограф Цветаевой не бессердечный человек, ему не чуждо чувство жалости. Дойдя в своем повествовании до «Попытки ревности» («Как живется, милый? Тяжче ли — / Так же ли — как мне с другим?»), он, проявив гендерную солидарность, справедливо посочувствовал мужу Цветаевой, который в этих строках не «милый», разумеется, а «другой»: «Обидно за Эфрона» (с. 430).

Он не остался равнодушным и к «участи» Александра Бахраха, заочному роману с которым Цветаева положила конец, написав 20 сентября 1923 года: «Я люблю другого — проще, грубее и правдивее не скажешь». Прочитывая отрывок из следующего письма, ИФ резюмирует: «А ведь это настоящий разрыв ненатурального романа. Жаль Бахраха» (с. 398). Что ж, может, и жаль — неприятный выпал ему момент. Но трагедии никакой не было, ни подлости, ни коварства испытать ему на себе не пришлось. А «ненатуральный роман», оставивший, наверное, горьковатый осадок в молодой его душе, породил между тем вдохновенные им стихи, рядом с которыми и теперь, спустя без малого сто лет, оживает его имя.

Сочувствие к взрослеющей Але (Ариадне Эфрон) — тоже, разумеется, понятное — сквозит в таком, например, фрагменте текста:

Дома ей скучно, она с утра до вечера где-то пропадает, отодвигается, заводит собственную жизнь, однако не столь радикально, как это кажется матери, и многие домашние хлопоты по-прежнему лежат на ней, Але, она подсчитывает расходы на починку вещичек:

«Мамины чулки коричневые:  
1 дырка средняя — 10 сантимов  
1 дырка маленькая — 5 с.  
1 дырка средняя 10 с.» и т. д. (с. 633).

А вот сочувствия к «матери» как-то не слышно — одно слово «вещичек» чего стоит. Не слышно и тогда, когда, предваряя выписку из письма (1928) к Пастернаку («С 1925 г. ни одной строки стихов. Борис, я иссякаю: не как поэт, а как человек, любви источник...»), ИФ говорит: «Она испытывает постоянную потребность в жалобе» (с. 556). Нет признаков сочувствия и в суровой констатации жизненных обстоятельств зимы 1937—1938 года: «В общем, кухня. Стол, печка, готовка, стирка, мытье полов — репертуар тот же. На кухне — морозно» (с. 768). И уж совсем бездушно, как о нерадивой домохозяйке, сказано на последних страницах книги (Москва, весна 1941 года): «Готовила она, прямо сказать, плохо <...> Ее суп в равной мере удивил таких разных людей, как Нина Гордон и Дмитрий Журавлев, который потом сказал Елизавете Яковлевне (сестре С. Эфрона. — Т. Г.): “Пожалуй, ничего более невкусного я в своей жизни не ел”» (с. 821).

Слова Журавлева — редкий случай! — завышенная цитата. Откуда она взята? Кто в таком невыгодном свете (заглянул в гости, невкусно пообедал и пошел сплетничать о плохойстряпне великого поэта) выставил культурного человека, народного артиста СССР? Оказывается, сам он и рассказал этот эпизод в воспоминаниях о Цветаевой, которые назвал «Впечатление было ошеломительное...». Неужели от того супа? Да нет, от «уникальной индивидуальности», «яркости», «неповторимости и значительности» ее

образа. А вырванные из контекста слова о супе имеют у Журавлева такое продолжение: «И мы долго и грустно говорили о превратностях судьбы Цветаевой, о ее бесконечной борьбе с бытом, с “обеденным столом”, который, как она сама говорила и писала, всегда отрывал ее от “письменного”...» [Марина... 2002: 24]. То есть о том, к чему биограф равнодушен. Поэтому и цитировать не стоит. Достаточно подтвердить документальным, вольно или невольно искаженным, свидетельством: готовила плохо.

Между прочим, если уж такой необходимой показалась эта тема, можно было бы не без юмора вспомнить цветаевскую запись: «Обед не стоит, чтоб его готовили. (Лучше — сырой!)» [Цветаева 1997: 150]. Или — вполне уже серьезно — такую: «Не могу сказать, что не хочу готовить обеда, могу только сказать, что, пока готовлю обед, страстно хочу писать стихи. Только потому обед и сварен» [Цветаева 1997: 151]. Но «особая стилистика», видимо, не позволила.

Потому, надо думать, не позволила, что не жаль поэту-биографу Марину Цветаеву ни на одном из жизненных ее поворотов, и ничего с этим не поделаешь. И не нужно. Пусть не жалеет. Лишь бы уважительный тон сохранял, да еще объективность и верность разнохарактерным текстам. Включая сюда и произведения Цветаевой.

А сохраняет ли?

Давайте посмотрим, как цитирует ИФ стихотворение Цветаевой 1913 года («шедевр»!) и к какому заключению благодаря этому «как» подводит читателя:

Идешь, на меня похожий,  
Глаза устремляешь вниз.  
Я их опускала — тоже!  
Прохожий, остановись!

Нелишне упомянуть — МЦ любила эти стихи Макса Волошина:

Не царевич я, похожий  
На него — я был иной.  
Ты ведь знаешь, я — прохожий,  
Близкий всем, всему чужой.

Цветаевский прохожий — Макс? Похоже (с. 98–99).

А если вспомнить следующие строфы, тоже будет похоже?

Не думай, что здесь — могила,  
Что я появлюсь, грозя...  
Я слишком сама любила  
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,  
И кудри мои вились...  
Я тоже *была*, прохожий!  
Прохожий, остановись!

Но их ИФ не вспоминает. Вместо этого непонятно зачем выстраивает цепочку «прохожих» у русских поэтов: Аделаиды Герцук, Сергея Есенина, Леонида Мартынова. Хочет сказать, что у первой позаимствовала Цветаева, а Есенин и Мартынов позаимствовали у нее? Вроде не хочет. «Этих прохожих породила не Цветаева, их мать — общерусская Муза» (с. 99). Ценное, согласимся, наблюдение и в биографической книге очень уместное. Впрочем, им тема не исчерпывается. Выследив «прохожего» в стихотворении Цветаевой 1922 года, ИФ с детским почти ликованием сообщает: «Вновь — прохожий. Но уже с ночлегом» (с. 286).

Вообще реплики автора, сопровождающие цитацию стихов, это отдельная песня. «Смоленский рынок» Ходасевича — «Очень московские стихи» (с. 322), о «Гренаде» М. Светлова, восхитившей Цветаеву, — «А ведь и впрямь хорошо» (с. 502), «Она (Цветаева. — Т. Г.) пишет стихи, более чем хорошие» (с. 643), под восьмистишием Цветаевой — лапидарное «Отнюдь» (с. 151), хотя еще Бунин учил, что «так по-русски не говорят». И т. д.

Но давайте — по порядку.

*Зима 1919—1920 года.* Смерть младшей дочери Ирины.

Лиля Эфрон вызывалась взять на себя Ирину, еще живую, из приюта, но Марина категорически не согласилась. Она была в беспочвенной, глухой и яростной досаде на Сережиных сестер, годами ей помогавших (с. 216).

Оставим в стороне «беспочвенность» досады — разговор о ней далеко бы нас повел. Возьмем только факт отказа. Если есть ему документальное свидетельство, его *необходимо* привести. Потому что давно уже опубликованное письмо Лили Эфрон к брату говорит о другом: «На Рождество только мы <...> получили комнату и я написала Вере, чтобы она привезла Ирину. И получила ответ <...> что Ирина умерла <...> Я узнала обо всем, когда все уже кончилось» [*Марина...* 1999: 512]. Книга эта есть в Краткой библиографии, значит, надо полагать, ИФ с письмом знаком. Но ни о нем, ни о каком-нибудь другом источнике не сказано ни слова.

*Конец 1920-го — начало 1921 года.*

Красный конь («как на иконах») и лебединый стан (стихи этого плана нарастают) — равновесные полюса одного мира. Поток снов, нечетких, незаконченных, бессвязных, среди них — сон о сыне, первенце (с. 246).

Речь о поэме «На Красном Коне», датированной 13—17 января 1921 года. Между тем стихотворение о сыне написано в марте 1920-го. Сразу же после стихотворения об умершей Ирине («Две руки, легко опущенные...»). Под обоими одинаковая датировка — Пасхальная неделя. В том году Благовещение пришлось на среду этой недели. Хронология, по понятным причинам, здесь очень важна. А в книге парные эти стихи разделены 30 страницами, и «сон о сыне» насильственно помещен в чужеродный контекст.

*Осень 1921 года.* «Закончив “Ханский полон” <...> МЦ разворачивается на сто восемьдесят градусов — к Античности. Ее ценности — там» (с. 270). И далее приводится первое стихотворение цикла «Хвала Афродите». Ключевого в эту осень цикла. Однако смысл оборота на Античность в нем диаметрально противоположный — она не к ценностям припадает, а порывает с богиней любви. Что со всюю ясностью сказано во втором и третьем стихотворениях цикла, абсолютно проигнорированных. Между тем в них берет исток сквозная лирическая тема, которая, так или иначе, будет длиться два полных года.

*Весна 1922 года.* «У Марины появилась чета Мандельштам». Об этом сообщает в своих воспоминаниях Надежда Яковлевна. Приведя большую выдержку из них, ИФ пишет:

Ненадежная память дала <...> пару сбоев. Во-первых, дело было не летом, а весной. Во-вторых, Мандельштамы чуть погодя не заходили к Шенгели, а с середины апреля 1922-го некоторое время жили-квартировали в борисоглебском доме у Цветаевой <...> По-видимому, мартовский визит Осипа был разведкой на предмет вселения (с. 283).

Трудно поверить, что память Н. Мандельштам не сохранила двухнедельного проживания в доме Цветаевой. Тем более что ни сама Цветаева, ни ее дочь ни разу об этом не обмолвились. Но есть свидетельства (их ИФ, разумеется, не приводит), отнюдь не общеизвестный этот факт подтверждающие. Одно приведено в книге Л. Видгофа, который специально изучал московские адреса Мандельштама:

В беседе с литературоведом И. Н. Розановым в доме Н. Гудзия (запись в дневнике Розанова от 18 апреля 1922 года) Мандельштам сказал: «Марина Цветаева все время говорит поговорками: нельзя так». (В этой же записи И. Н. Розанов отмечает, имея в виду Цветаеву: «У нее Мандельштамы и поселились».) Это маловероятно. О том, что Мандельштамы, приехав в Москву в 1922 году, какое-то время жили у Цветаевой, в других источниках сведений нет [Видгоф 2012: 143].

Нашелся, однако, еще один источник — воспоминания П. Зайцева, и на основании двух этих свидетельств в летописи жизни и творчества Мандельштама сделана запись: «Апрель, около 15. Поселился в доме Марины Цветаевой» [*Летопись...* 2014: 219]. Итак, надо считать, что факт проживания Мандельштамов в Борисоглебском переулке совсем недавно, но все же установлен.

Какие выводы делаются из него в новой биографии Цветаевой?

«Результатом этого трудного сожительства, — пишет ИФ, — можно счесть мандельштамовский вердикт цвета-

евскому творчеству той поры» (с. 283), то есть резкие выпад в очерке «Литературная Москва», где, в частности, сказано: «Для Москвы самый печальный знак — богородичное рукоделие Марины Цветаевой <...> Безвкусица и историческая фальшь стихов Марины Цветаевой о России — лженародных и лжемосковских — неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды» (с. 283—284).

Несколькими страницами позже в связи с «Переулочками» Цветаевой говорится:

Поэма пишется — в физическом присутствии Мандельштама, то есть под одним кровом. Это было время первого мандельштамовского импресьона в его поэзии, туманного шифра, тончайшей ассоциативности, странных сближений. Цветаевская «последняя Москва» была той самой, которую она дарила Осипу шесть лет назад (с. 290).

Не важно, что поэма посвящена А. Подгаецкому-Чаброву<sup>6</sup> — «на память о нашей последней Москве». Решает ли что-нибудь слово самой Цветаевой, если она жила в это время «под одним кровом» с Мандельштамом? И не стоит ли в разговоре о поэме (действительно трудной для понимания) обратиться к письмам Цветаевой (Пастернаку — от 10 марта 1923-го, Ю. Иваску от 25 января 1937-го), где она свою поэму пыталась объяснить? ИФ этим не стал затрудняться, ведь «физическое присутствие» Мандельштама все и так объяснило.

Уже не в «трудном сожительстве» с собратом по перу и не в Москве, а в Лондоне пишет Цветаева «Мой ответ Осипу Мандельштаму» (1926). Резкий ответ на «Шум времени». У ИФ по этому поводу читаем: «Да, это — ответ. Но подспудно он вызван, может быть, не столько “Шумом вре-

---

<sup>6</sup> О нем биограф скажет: «Он был в жизни МЦ монахом, чем-то бесплотным» (с. 416). А сказав, невольно признает, что смысл двух вещей, посвященных Чаброву (стихотворения «Не проклинать и не клясть...» и поэмы «Переулочки»), от него ускользнул.

мени”, сколько мандельштамовской оплеухой в статье “Литературная Москва” <...> Попытка ревности» (с. 471).

Устав цитировать однонаправленные, бездоказательные допущения поэта-биографа, обращусь-ка я к самой Цветаевой, сказавшей в «Поэте о критике» (тот же 1926 год): «Критика большого поэта, в большей части, критика страсти: родства и чуждости <...> Если из его слов не встаю я, то во всяком случае виден — он» [Цветаева 1994: V, 281]. Не берясь судить, большой ли поэт Илья Фаликов, позволю себе заметить, что на сей раз (не впервые, впрочем) чуждость свою Цветаевой он самолично засвидетельствовал, а увидев в ее ответе «попытку *ревности*» (неверно в этом контексте употребленное, лишь на щеголеватость аллюзии покушающееся слово; по логике вещей должно быть — мечь), высветил не ее образ, а свой.

Ибо если свести воедино три предположения биографа, то сложится некий дрянный сюжет, чуждый образу не только Цветаевой, но и — хочется думать — Мандельштама: его приютили — он в раздражении написал «Литературную Москву», то есть отвесил давшей ему кров Цветаевой «оплеуху»; она, приютив, за две недели трудного этого гощения подпала под влияние его «импрессона» настолько, что ее «последняя Москва» стала вдруг той самой, которую «она дарила Осипу» в 1916 году; об «оплеухе», впрочем, не забыла и нашла спустя четыре года случай влить ему ответную пощечину, неискренне, надо понимать, возмутившись его прозой, «словесную живопись» которой тем не менее предусмотрительно прикопила для будущей своей (см. с. 471). Такая вот пошловатая получилась история — хоть сейчас начинай съемки телесериала.

Вернемся, однако, от измышлений биографа в реальность *весны 1922 года*. «В Берлине МЦ принарядилась <...> Купила Але матроску, ожидаемому Сереже — теплое белье, носки, шарф и портсигар <...> а себе — синее платье, отнюдь не шелковое, но из качественного сатина» (с. 300). Источник информации — воспоминания А. Эфрон. Они, разумеется, не упоминаются и не цитируются. Так куда легче встроить в пересказ свое, авторское, — «принарядилась». Между тем дочь Цветаевой пишет о том же так: «Марина купила первые после неподъемной разлуки подарки Сереже <...> Мне,

покачав головой на цену, — полосатое платье с матросским воротником; и, под категорическим нажимом Любови Михайловны (жена И. Эренбурга. — Т. Г.), платье себе, совсем уже простенькое...» [Эфрон 2008: 89]. Есть разница?

*Июнь 1922 года.* О первых берлинских стихах: «Многие стихи Вишняку густо зашифрованы» (с. 307). Что бы это значило? Что биографу они непонятны или что Цветаева овладела вдруг шифровальной техникой? А может, дело в том, что он попросту пропустил большой корпус стихов «последней Москвы», и потому, лишенная их фона и контекста, берлинская лирика закрылась его пониманию? Дальше — больше:

Стихов ей недостаточно, начинается эпистолярный поток. Писем было девять <...> Подлинник писем — сплошной монолог, произносящийся ровно десять дней. Это единый текст, последовательно составленный нами наугад из разных абзацев разных писем (с. 309).

И дальше идет нарезка из цветаевских писем. Совсем *не* наугад составленная. Напротив, сознательно сглаженная (опять, видимо, посочувствовал Эфрону). Превращенная в *один из* образчиков любовного эпистолярного Цветаевой. А в оригинале письма к Вишняку — совершенно особенные. ИФ знает, что Вишняк предложил Цветаевой перевести «Флорентийские ночи» Гейне, знает, что с подачи А. Эфрон при публикации новеллы, на основе писем созданной, она так и была названа — «Флорентийские ночи». Знает, что письма стали писаться с того именно дня, когда Вишняк предложил ей сделать перевод (первое так и начинается: «Книга, которая сейчас — Вашей рукой — врезалась в мою жизнь — НЕ случайна. Услышав — обмерла» [Цветаева 1997: 91]). Выборку ИФ делает из первоначальных текстов, сохраненных «Сводными тетрадами». А там проставлено — «Ночь вторая», «Ночь третья» (у Гейне — «Ночь первая», «Ночь вторая»). Цветаева имитацией формы подсказывала схожесть сюжетов. Надо думать, подсказка до биографа не дошла, иначе не убрал бы он ни начала первого письма, ни смыслообразующие эти «шапки». В результате не наугад, но *вслепую* составленная выборка ничего существенного

читателю не открыла, цветаевский сюжет, и так не на поверхности лежащий, окончательно затуманила. А ведь хороший был шанс — поэту-биографу уловить (*довидеть!*) перекличку двух других поэтов. Случись это, и стихи, к Вишняку обращенные, могли бы хоть отчасти «расшифроваться».

*Август 1922 года.* Цикл «Сивилла». Цитируется первое стихотворение. Далее читаем:

Лесника-людоеда и ручных ланей нет, но образ бессмертной пророчицы, по воле МЦ — вопреки стационарному миру — выбывшей из живых, еще пару дней мерещится, воплощаясь в стихи: образуется цикл из трех вещей. Было с чем сравнивать (с. 328).

Следом идет перечисление стихов Бальмонта, Брюсова, Вяч. Иванова, Волошина. Сравнить, впрочем, бесполезно — ряд выстроен по внешнему признаку: везде, так или иначе, Сивилла. Но у Цветаевой она совсем другая. Что сказано о цветаевской? Ошибочно сказано, что за пару дней написано три вещи (третья «померещилась» только весной следующего года), и так же ошибочно понята последняя строка первого стихотворения, ибо не умерла цветаевская Сивилла, а просто ушла из круга *молдых*, отрешившись от любви, стала лишь голосом. Тем самым голосом, который обратится к «младенцу» в третьем стихотворении.

*Сентябрь 1922 года.* Речь о цикле «Деревья» — самом заветном в «После России».

Цикл с посвящением: «Моему чешскому другу Анне Антоновне Тесковой». По числам видно, что посвящение созрело позже, а не к началу работы над циклом <...> Наверное, Анне Тесковой уместней было бы посвятить «Заводские» — стихи, напрямую социальные. Этими вопросами занималась «Еднота» («Чешско-русская Еднота» — общество, созданное с культурно-благотворительной целью, его долгие годы возглавляла Тескова. — *Т. Г.*), в этих вопросах увязла мировая беднота, посреди которой суждено пребывать русской эмиграции (с. 330, 332).

Какой свысока взгляд на преданнейшего друга Цветаевой! И одновременно укор ей за то, что не по социальному ведомству проходит у нее Тескова. Интеллигентному человеку, не говоря уж о русском поэте, такая позиция непростительна. Хотя, к великому сожалению, в определенном кругу она типовая: что-то из разряда — братья наши меньшие.

Впрочем, причина стараний ИФ отодвинуть «Деревья» от Тесковой вскоре выясняется: ему померещилось, что они «тайно» посвящены Пастернаку. А как же иначе: ведь недавно написана статья «Световой ливень», а теперь в стихе: «Свет — царство его». Выхвачено слово, все остальное (много всего, о чем вкратце не скажешь) проигнорировано, и вывод готов: «МЦ перелагает стихами свой “Световой ливень”» (с. 331). Метода знакомая: нечто подобное проделывалось и с «прохожим», и с Сивиллой. А еще со стихами Мандельштама и Цветаевой, где слово «простоволосая» (совершенно по-разному каждым из них употребленное) превращено в знак неразрывной — поверх всяческих оплех — связи двух поэтов. Читали ли они друг друга? Да, отвечает ИФ. Откуда ему это известно? «Эпитет не обманывает» (с. 284). Впору вспомнить эпитет «ласковая/неласковая», с которым он так некстати обманулся.

*Осень 1922 года.* «В черновой тетради МЦ 12 октября <...> появляются записи о начатом еще в Москве “Молодце”» (с. 334). Ошибка. Возврат к поэме-сказке произошел раньше (см.: [Цветаева 1997: 139]).

*Весна-лето 1923 года.* «Мочульский ставит этих двух поэтов (Ахматову и Цветаеву. — Т. Г.) чуть ли не на разные сословные ступени, лишая МЦ ее бабки-дворянки и самосознания XVIII столетия» (с. 376), — пишет ИФ, не зная, вероятно, что и сама Цветаева была дворянкой (см.: [Лубяникова 2014]).

*Сентябрь 1923 года.* «В начале сентября стало фактом: друг — любовник жены. Сергей сокрушен. МЦ пишет Родзевичу» (с. 394). И далее идут разновременные письма, слитые в одно. Вторая часть относится скорее всего к ноябрю, то есть к тому времени, когда С. Эфрон действительно знал уже о романе жены. Сентябрь-октябрь были для Цветаевой недолгой порой безоблачного счастья, биограф походя лишил ее и этой малости. Ибо в ноябре —

«Я разорвана пополам. Меня нет. Есть трещина, только ее и слышу <...> Моя вина <...> началась с секунды его боли, пока он не знал — я *НЕ* была виновата» [Цветаева 1997: 266].

*Осень того же года.* Цветаева начинает писать трагедию «Тезей». В предварительных материалах разрабатывает свою версию мифа о нем. В книге дается большое примечание редактора, где вскользь сказано, что сюжет этот «в древнегреческой мифологии оброс версиями», а затем излагается вариант, диаметрально противоположный тому, который выбрала и домыслила Цветаева, а именно: «Ариадна бежала с ним (Тезеем. — Т. Г.), но, спящая, была им брошена на привале, запримечена там богом Дионисом, взявшим ее в жены» (с. 398). Редактору вторит и биограф: цитируя выписки из цветаевской разработки мифологического сюжета, он выкидывает именно то, что вносила в сюжет она сама (с. 402).

*Февраль 1924 года.* На сей раз сливаются в одно два разновременных письма С. Эфрона к разным адресатам (с. 413). Далее идет путаница в письмах Цветаевой и как бы в укор ей сказанное: «У МЦ на уме одно — Родзевич» (с. 415). А между тем это январь 1924 года, с разрыва и месяца не прошло, Цветаева пишет «Поэму Горы». О ком, по мнению биографа, должна она думать?

Вскоре, явно путаясь в счете, ИФ сообщает: «В июньские дни 1924-го Марина понесла ребенка» (с. 420).

*Осень 1924 года.* «Пьеса “Тезей”, первоначально названная “Ариадна”, закончена 7 октября <...> Назвать ее трагедией МЦ не решается: у женщин трагедия — нечто другое» (с. 423).

Это уже граничит с издевательством. Все надо читать наоборот: с самого начала, с ранних набросков (в «Сводных тетрадах» трижды: «Из черновой Тезея»: 268; «Черновая Тезея»: 270; «Под чистовиком Тезея»: 304) *трагедия* обозначалась именем главного героя, под названием «Тезей» и была опубликована («Версты», 1927, № 2). Задумывалась как первая часть трилогии «Гнев Афродиты», но по написании вещи это название было отвергнуто. Последние исправления Цветаева внесла в трагедию в 1940 году, «тогда же было дано и новое название» [Цветаева

1965: 784] — «Ариадна». А многозначительная чушь в конце приведенной цитаты наводит на мысль, что ИФ не затруднился прочесть ни трагедию, ни подготовительные к ней материалы. Иначе он, хочется надеяться, понял бы, что устами Тезея Цветаева говорит и о своей (о своей — в первую очередь) трагедии, о годичной давности выборе: любовь — или долг перед семьей.

И тут же, рядом, еще одно кривое зеркало: «Она листает периодику, в парижском “Звене” следит за рубрикой Георгия Адамовича “Литературные заметки”» (с. 423). Эти «листают» и «следит» легко могло бы опровергнуть письмо к О. Колбасиной-Черновой, кабы ИФ процитировал его добросовестно. В опущенной части сказано: «Рецензию в “Звене” прочла. Писавшего — некоего Адамовича — знаю» [Цветаева 1995: VI, 683]. Из чего нетрудно заключить: об этой рецензии Цветаева узнала от своей корреспондентки.

*Январь 1925 года.* Тут нас поджидает шедевр поэтической чуткости биографа. Он приводит стихотворение, написанное спустя два месяца после «Попытки ревности» и за считанные дни до рождения сына. Цветаева в числе немногих других не включила его в «После России». Имела, видимо, причины:

Дней сползающие слизи,  
 ...Строк поденная швея...  
 Что до собственной мне жизни?  
 Не моя, раз не твоя.

И до бед мне мало дела  
 Собственных... — Еда? Спать?  
 Что до смертного мне тела?  
 Не мое, раз не твое.

Комментирует так: «Тело ее вот-вот разрешится бременем и не ведает своей принадлежности» (с. 437). Чем попадать в столь глупое положение, посоветовался бы с умной, понимающей женщиной. И привычно уже посочувствовал Эфрону.

*Июль 1925 года.* Сергей Эфрон поправляет здоровье в санатории. Пишет большое письмо сестре Лиле. Расска-

зывает о мальчике, какой он спокойный, улыбочивый, голубоглазый — всеобщий любимец. О дочери: у нее золотое сердце, она помогает по хозяйству, жаль, что на нее так рано легла тяжесть быта. Жалуется на свои бытовые условия, отдельной комнаты у него нет, живет на кухне, что никак не способствует успешной работе. Говорит и о том, что в Европе театр заменен зрелищем (бокс, футбол, гонки, скачки и прочее). ИФ цитирует письмо щедро — почти полторы страницы петитом (с. 446—447). Но четыре пропуска все же делает. Вот чему не находится, в частности, места:

Марина дрожит над ним (ребенком. — Т. Г.), ни на минуту от него не отходит, но он не избаловывается, как это обычно бывает с другими [*Марина...* 1999: 317].

И —

Марина очень занята мальчиком, варкой ему и нам пищи, тысячами забот, которые разбивают и мельчат время и не дают ей длительного досуга для ее работы. Но она все же ухитряется между примусом и ванной, картофелем и пеленками найти минуты для своей тетради [*Марина...* 1999: 318].

Филигранная, согласимся, техника работы с материалом: дурного ничего не сказал, а пробел в «едином тексте жизни» поэта все-таки сделал. И заодно избежал необходимости сказать, что в эти выхваченные «между примусом и ванной, картофелем и пеленками» минуты Цветаева пишет не разрозненные лирические строфы, а поэму «Крысолов».

*Май 1926 года.* В связи с письмом к Пастернаку ИФ прозорливо замечает: «Видимо, именно в ту весну 1926-го она нашла это слово — *отказ*» (с. 483). Между тем еще в Москве 1921 года, в дни общения с кн. С. Волконским, родилась излюбленная формула Цветаевой — «Победа путем отказа» [*Цветаева* 1997: 12].

*Начало 1927 года.* С великим удивлением читаем: «А тут вышел в свет многострадальный, трудно и долго писанный “Тезей” <...> Пять картин и много народа <...> Трагедия»

дия кончается возгласом Тезея: «Узнаю тебя, Афродита!»» (с. 516, 519).

Так все-таки «Тезей», а не «Ариадна»? И все-таки трагедия? А как это увязывается с тем, что сказано сотней страниц ранее? Да никак не увязывается. Просто теперь биограф заглянул-таки в надобную книгу. И трагедию, похоже, прочел. И даже пересказал зачем-то на трех страницах. Правда, центральной для Цветаевой картине «Наксос» уделил всего пять строк: «Скала со спящей Ариадной. Тезей произносит долгий монолог, в который вмешивается Вакх — Голос с неба, так и остающийся голосом, который заявляет права на Ариадну <...> Тезей, попрепивавшись, соглашается» (с. 518).

Не могу не посочувствовать Марине Цветаевой. Ведь как билась она над этой сценой, как искала довод Вакха, который заставил бы Тезея *добровольно* отступить от Ариадны, как важно ей было, что сделал он это не из страха перед божеством, сколько своей боли от вынужденного разрыва с Родзевичем вложила она в вопрос Тезея: «Так зачем же, двужалый, / *Ночь* была нам вдвоем?» Как на свой лад переосмысляла миф, чтобы вопрос этот в него вписался. И все это лишь для того, чтоб спустя девяносто лет поэт-биограф чуть ли не с усмешкой обронил — «попрепивавшись»?

*Апрель 1927 года.* Цветаева готовится к своему вечеру. «Перед этим надо было произвести важную вещь — вставить зуб, в чем помогла ей та же Саломея (С. Андроникова-Гальперн. — Т. Г.), сведя со знакомым врачом. Заодно, ввиду предстоящего переезда, МЦ обзавелась мебелью от Саломеи...» (с. 529).

Оставлю без комментария и — с перескоком во времени (как ни старайся, всего не перечислить) — продолжу.

*Лето 1936 года.* На две страницы раскинувшаяся цитата из письма к Ариадне Берг, в котором Цветаева предлагает обменять на понравившееся ей кольцо «большое, в два ряда ожерелье из темно-голубого, даже синего лаписа». Перед цитатой: «А теперь — внимание. Важнейшая просьба» (с. 734). После нее — сообщение: «Эта грандиозная затея завершилась успехом» (с. 736). Заметная веха в биографии, не правда ли?

Январь 1938 года. Страсти вокруг переписки с той же корреспонденткой. Бегло и избирательно пересказывается один в ней сюжет: «Их диалог — во многом чисто женский, вплоть до длительной и подробной темы приобретения Ариадной в Бельгии пальто для МЦ (широкая спина, широкие плечи, 120 см длины и проч.), — *МЦ охота въехать в Москву нарядной, ослепительной*» (курсив мой — Т. Г.; с. 771).

Прилично одетой, может, и хочется. Не грех ведь? Но «нарядной» и тем более «ослепительной» — это точно не о ней. А главное — сама она в преддверии возвращения в Россию (конспиративно названную в письме Чехией) говорила, прося похлопотать о пальто, совсем о другом:

Мне может быть придется уехать в Чехию (МОЛЧИТЕ, КАК КОЛОДЕЦ!), а там очень холодно и мне необходимо НЕПРОДЁРНОЕ пальто — на всю жизнь <...> Каждое матерчатое <...> пальто я протираю на боку кошелками, которые ношу (и буду носить) — всегда. Поэтому мне нужна *sue'dine* (материал, называемый шведской замшей. — Т. Г.) <...> Такое огромное пальто мне нужно, чтобы положить под него мех, который у меня — есть [Цветаева 1995: VII, 512, 513].

Речь, как видим, о прочном и теплом пальто. Лукавить с А. Берг она бы не стала — лишним свидетельством тому история с кольцом и ожерельем. Почему в книге не приведены эти несколько строк? Потому, что даже слепому стало бы ясно, что слова ИФ, выделенные нами, — это очередной домысел? А так все шито-крыто, и можно смело отражать образ Цветаевой в очередном кривом зеркале.

Не так, быть может, явно, но нечто подобное проделывается и с письмом к Ю. Иваску от 4 июня 1934 года. Цветаева неожиданно предложила ему стать хранителем ее архива, «Иваск смущенно отказался, она глубоко обижена. Тем более что у нее безумно болят ноги...» (с. 690). Это большое письмо, о боли в ногах в нем — среди много прочего — тоже сказано. Но, разумеется, не в соседстве с «обидой», несмотря на которую, кстати, Цветаева подробно отвечает на вопросы Иваска о ней, на своеобразную его анкету. Ее ответы неподвзятый биограф счел бы если не бесценными, то, во

всяком случае, заслуживающими внимания. ИФ, однако, обходя их стороной, пересказывает четыре книжных страницы этого письма в шести строчках. Манера пересказа нам уже знакома — ничего нового. В прямой цитации приводится только: «Ваши сны до жути правильны».

Между тем, возвращаясь на последней странице к теме его отказа и своей обиды, Цветаева, пишет:

Итак, снимаю с Вас...

Бедных писаний моих Вавилонскую башню.

Писем — своих и чужих — огнедышащий холмик...

— всю гору, друг, все горы, вплоть до последнего тарусского холма...

Делаю это дружески и даже — матерински <...> Вне обиды, вне разочарования, — *привычно* [Цветаева 1995: VII, 394].

Об искажениях, которые претерпело письмо от 25 января 1937 года тому же адресату, мне доводилось уже писать на страницах «Вопросов литературы» [Геворкян: 53—56], повторяться не буду.

Вернувшись в *осень 1922 года*, скажу о другом. И начну с цитаты:

Борис Пастернак еще не уехал из Берлина. 19 ноября 1922 года МЦ пишет в Мокропсах письмо Пастернаку, который просил ее ответное письмо переслать через его родителей, живших тогда в Берлине, что она и делает, завязывая переписку с его отцом<sup>7</sup>. Письмо от 19 ноября — последнее письмо МЦ Борису Пастернаку в 1922 году (это ответ на его письмо от 12 ноября 1922 года из Берлина) (с. 341).

После маловнятного этого абзаца приводится концовка ее письма, вслед за которой встраивается реплика автора («МЦ все время, чем бы ни занималась, думает о Пастерна-

---

<sup>7</sup> Тут ошибка: через родителей пересылалось летнее письмо и ничего при этом не завязывалось: четыре письма Цветаевой к Л. Пастернаку относятся к 1927—1928 годам.

ке. Сочиняется пространное письмо к нему»<sup>8</sup>), а затем цитируется все то же большое письмо, но на сей раз с начала.

Зачем устраивать такую неразбериху? Почему бы для начала не сказать, о чем написал ей Пастернак (он с большим опозданием поблагодарил Цветаеву за присланную ею книгу «Разлука», июльское стихотворение «Слова на сон» и за статью «Световой ливень»; все понравилось, стихотворение — очень, а статья показалась даже провидческой), почему бы вместо «последнее письмо» не сказать *второе*, наконец — зачем понадобилось при цитации пропускать небольшой абзац, где говорится, что стихотворение «Слова на сон» — это единственное, на что «хватило дыхания» после его книги, которую она прочла летом? Не потому ли, что тогда «тайная посвященность» «Деревьев» Пастернаку «зависла» бы окончательно?

Пишется биография, которой приличествуют последовательность, объективность и внятность. Материал — богатейший. В данном случае в распоряжении биографа том *переписки* двух великих поэтов, воспроизводящий их многолетний *диалог*. Пишут они друг другу в том числе и о творчестве. Почему письма Пастернака цитируются так скупно, с такой странноватой избирательностью? Февральское письмо 1923 года, где он говорит о ее «Царь-Девнице», пропущено. В связи с ним сказано только: «Он предложил ей встретиться весной 1925 года в Веймаре» (с. 356). И сказано неверно — Веймар впервые прозвучал спустя месяц, в начале марта. Из письма от 25 марта 1926 года, написанного по прочтении «Поэмы Конца» и заканчивающегося словами: «Я боготворю тебя», приведены три строчки (с. 472). Из письма о «Крысолове», написанного «уже без беспримесного восторга», процитирован солидный кусок (с. 489—490). А в целом голоса Пастернака, его взгляда на Цветаеву в книге до скудости мало.

В книге, где бесконечными простынями приводятся отклики именитых и совсем безвестных современников — зачастую откровенно скучные.

---

<sup>8</sup> То есть еще одно?

Где нашлось место письмам Маяковского Лиле Брик. Например, такому:

Дорогой, родной, любимый, милый Личик.

Шлю тебе и Осипу посильный привет. Тоскую.

Завтра еду в Ниццу на сколько хватит (далее поясняется: «Проблемы у него те же — денежные, да масштабы покрупче». — Т. Г.). А хватит, очевидно, только на самую капельку. В течение апреля — к концу — буду в Москве. И в Ниццу, и в Москву еду, конечно, в располагающей и приятной самостоятельности.

Люблю и целую родную Киску.

Счен (с. 588).

С Маяковским, впрочем, случай особый. О нем в статье «Высокий берег» ИФ сказал: «Океанической, первозданной была поэзия Маяковского, и не наше лилипутское дело производить калькуляцию его заблуждений, просчетов и промахов» [Фаликов 2001: 98].

Золотые слова. Жаль только, что их пафос обходит стороной Цветаеву. Видимо, первозданностью не вышла ее поэзия, да и до океаничности не дотянула — всего лишь морская. Так что можно не церемониться. Можно смело писать «Неласковую ласточку», под завязку набитую той самой калькуляцией, которая неуместна в случае Маяковского.

И начала-то она переписку с Рильке крохотной ложью: сказала, что привезла с собой его книги из России (с. 478), а на самом деле купила их в Берлине; и пристаёт-то она ко всем со своими просьбами, но говорит, что никого ни о чем не просит; и «в процессе сочинения» «многостраничного, многодневного» «послания Пастернаку» «дарит собой и другого адресата» (с. 359) — Романа Гуля, и хотя «они едва знакомы», пишет ему «длиннющее» письмо, где, в частности, говорит: «Все это, Гуль, МЕЖДУ НАМИ» (с. 360); и с Тесковой — «начальницей Едноты» — «МЦ продолжает укреплять связь» (с. 453) в целях, разумеется, меркантильных (коляску для сына попросила и платье для своего вечера); и в «Сводных тетрадах» пометки к старым записям и стихам делает нукудышные

(см. с. 654); и слова мужа о ней «одарена она, как дьявол» не иначе как «оговорка по Фрейду», ибо «руку нечистого он испытал сполна», и потому «цветаевский дар он проводит по епархии дьявола» (с. 725); и про М. Цетлину, с которой уважительно переписывалась, другого адресата «не без едкости» спрашивает, «похудела ли Цетлиниха» (с. 363); и слишком-то часто и любовно пишет она Родзевичу («Октябрь уж наступил, оное пламя разгорается, ласковых слов в русском языке много»; с. 399), и пр., и пр.

Словом, «промахов и просчетов» куча, калькулируй — не перекалькулируешь.

А может, на вкус биографа, это и есть те самые «глубины и бездны», в которые он отважился-таки заглянуть?

Есть, впрочем, область, где Цветаева в его глазах безупречна, о чем на с. 623: «Это редчайшая редкость — от начала до конца ее знаний о нем Маяковский избежал перемен ее настроений. Это было незыблемое “Здорово в веках, Владимир!”». На кого «работает» это категоричное утверждение? На Цветаеву? — дескать, не важно что и как «недовидела» в жизни и природе, но в истинном величии знала все же толк. Или на Маяковского? — раз поэт уровня Цветаевой не усомнился в его величии и неподсудности, то «лилипутам» сам Бог велел помалкивать.

Поскольку ИФ говорит не совсем правду, можно предположить, что хлопочет он все же о Маяковском. Здесь не место вдаваться в подробности, но в двух словах правда такова: уже в 1927 году Цветаева писала Пастернаку:

О Маяковском — *прав*. Взгляд бычий и угнетенный <...>  
Маяковский один сплошной грех перед Богом, вина такая огромная, что надо молчать. Огромность вины. Падший Ангел. Архангел [Цветаева, Пастернак 2004: 329–330].

Потрясенная смертью Маяковского, написала ему во след свой реквием. Долго пыталась вывести «формулу» его самоубийства, но добиться искомой точности так и не смогла. Была убеждена, что поэту с победившей революцией не по пути, тем не менее в статье «Поэт и время» (1932) сделала для Маяковского исключение: «Все ста-

рое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа <...> Об этой революционности говорю. Другой для поэта *нет*. Или уж (кроме единственного чуда Маяковского) *поэта нет*» [Цветаева 1994: V, 338]. Приступая к статье «Эпос и лирика современной России», не собиралась разоблачать Маяковского, напротив — настаивала на «чуде». Но, впервые, кажется, «обзаведясь» его книгами (брали для нее в библиотеке) и поместив его в одну рамку с Пастернаком, сравнивала их, по справедливому замечанию Ю. Карабчиевского, как поэзию с не-поэзией. Не случайно за спиной Маяковского замаячил Рим риторства, а сама его фигура стала накладываться на написанный ранее портрет Брюсова. Выявлять то, к чему пришла, не захотела. В более поздних статьях просто перестала говорить о нем. Но в 1941 году сделала запись в тетради, в которой недвусмысленно вынесла Маяковского за пределы высокой поэзии [Цветаева 1994: IV, 614—616].

В своей книге — а она, как мы помним, претендует на раскрытие того, «что происходило в сознании Цветаевой» (до чего же неловкая фраза! — Т. Г.) — ИФ опускает всю ее эссеистику (да и портреты поэтов-современников оставляет без внимания). Если в связи с этим вспомнить одну из его формулировок, то получится так: «Жизнь поэта — единый текст», в котором прозе поэта не место<sup>9</sup>. Более чем забавно. Но ведь не настолько же, чтоб означать, что статьи Цветаевой биографу незнакомы вовсе? Что переписку с Пастернаком он не прочел и последние, предсмертные, по сути, записи Цветаевой тоже? А если знакомы письма, статьи и записи, то взгляд Цветаевой на Маяковского сознательно подретуширован — сведен к публичным высказываниям, в которых Цветаева не желала, особенно — после смерти Маяковского, в открытую разоблачать страшно, по ее убеждению, согрешившего перед своим даром собрата по перу.

---

<sup>9</sup> Хотя о ней ИФ все же вспоминает: «Чем сильна проза МЦ? Помимо прочего — подробностями, данными в динамике» (с. 753). Имея, правда, в виду эпистолярную прозу, в частности — письмо к А. Тесковой от 2 мая 1937 года.

\* \* \*

Многое осталось за рамками этого отзыва — невос-  
требованных закладок в «Неласковой ласточке» хватило  
бы еще на пару таких статей; выбирала то, о чем можно  
аргументированно сказать в журнальных объемах. Но и  
приведенного здесь, полагаю, достаточно, чтоб подвести  
итог.

Не случилось новое жизнеописание Цветаевой. Вме-  
сто биографии под обложкой объемистого тома оказалась  
свалка цитат, тенденциозно к тому же подобранных и не-  
добросовестно зачастую преподнесенных. Завышенные  
претензии автора, включая сюда и за пределами жанра и  
вкуса лежащую претензию на «прикосновенность к по-  
эзии», оказались пустой саморекламой. Во всяком случае,  
к поэзии Цветаевой книга имеет весьма отдаленное отно-  
шение. К жизни — тоже. Если, конечно, жизнь поэта не  
сводить к хронике бытовых обстоятельств, смене адресов,  
отголоскам его творчества в периодике. Не помогло и  
обилие вновь открытого материала. Может, даже наобо-  
рот: интимнейшие письма к Родзевичу биографа раздра-  
жают, в «Сводных тетрадах» он запутывается, к творче-  
скому осмыслению мифа о Тезее остается глух, том пере-  
писки с Пастернаком не слишком ему и пригодился,  
письма к Н. Гайдукевич вовсе не понадобились, берлин-  
ский роман с А. Вишняком, письма к которому он «*нау-  
гад*» нарезал, наводит его на мысль о неостановимости  
Цветаевой «ни в стихах, ни в женских шагах» (с. 306), с  
которыми его если что и примиряет, так это строка «Час  
мировых сиротств», ибо она «проясняет и оправдывает  
смысл этих стихов и этих отношений» (с. 307).

Не совсем понимаю значение словосочетания «оправ-  
дывать смысл стихов» (равно как и «смысл отношений»),  
но о самих стихах думаю, что ни они, ни «отношения» По-  
эта в оправданиях не нуждаются. Независимо от того,  
мужчина поэт или женщина. Судя по «Неласковой лас-  
точке», Фаликов думает иначе. Он вообще далек от кор-  
ректности в гендерном вопросе. Но это тема другого раз-  
говора.

В этом же мне остается только удивиться неразборчиво-  
сти издательства, посочувствовать нерадостной участи чи-

тателя популярной серии «ЖЗЛ», который стал бы искать в новом жизнеописании Цветаевой правды фактов и чистоты выводов, и с благодарностью вспомнить «предшествующих биографов», несуетно и неспешно писавших свои книги.

## Литература

*Белкина М. И.* Скращение судеб. М.: Изографус, 2005.

*Видгоф Л. М.* «Но люблю мою курву-Москву». Осип Мандельштам: поэт и город. Книга-экскурсия. М.: Кастрель, 2012.

Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама / Сост. А. Г. Мец. М.: Прогресс-Плеяда, 2014.

*Лубяникова Е. И.* О дворянстве Цветаевых // Актуальная Цветаева — 2012. К 120-летию поэта. XVIII международная конференция. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2014. С. 13—61.

Марина Цветаева в воспоминаниях современников. Возвращение на родину / Сост., вступ. ст., примеч. Л. Мнухина, Л. Турчинского. М.: Аграф, 2002.

Марина Цветаева. Неизданное. Семья: история в письмах / Сост. и коммент. Е. Коркиной. М.: Эллис Лак, 1999.

*Терешин Д.* Вглядеться заново — понять наверняка // НГ «Ex libris». 2017. 19 января.

*Фаликов И. З.* Высокий берег // Вопросы литературы. 2001. № 4. С. 96—133.

*Фаликов Илья.* Марина Цветаева. Твоя неласковая ласточка. М.: Молодая гвардия, 2017. (Большая серия «ЖЗЛ».)

*Цветаева М. И.* Избранные произведения. Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение. Большая серия «Библиотеки поэта», 1965.

*Цветаева М. И.* Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение. Большая серия «Библиотеки поэта», 1990.

*Цветаева М. И.* Собр. соч. в 7 тт. / Сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц, Л. Мнухина. Т. 4—5. М.: Эллис Лак, 1994.

*Цветаева М. И.* Указ. изд. Т. 6—7. М.: Эллис Лак, 1995.

*Цветаева М. И.* Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997.

*Цветаева М. И., Пастернак Б. П.* Души начинают видеть. Письма 1922—1936 годов. М.: Вагриус, 2004.

Эфрон А. С. История жизни, история души. В 3 тт. / Сост., подгот. текста, примеч. Р. Вальбе. Т. 3. М.: Возвращение, 2008.

## References

- Belkina, M. (2005). *Destinies crossing*. Moscow: Izografus. (In Russ.)
- Efron, A. and Saakyants, A., eds. (1965). *The selected works of Marina Tsvetaeva*. Moscow, Leningrad: Sovetskiy pisatel. (In Russ.)
- Falikov, I. (2001). High coast. *Voprosy Literatury*, 4, pp. 96-133. (In Russ.)
- Falikov, I. (2017). *Marina Tsvetaeva. Harsh and gentle*. Moscow: Molodaya Gvardiya. (*The Lives of Remarkable People Series*). (In Russ.)
- Korkina, E., ed. (1999). *Marina Tsvetaeva. The unpublished. Family: history in letters*. Moscow: Ellis Lak. (In Russ.)
- Korkina, E. and Shevelenko, I., eds. (1997). *Unpublished notebooks of M. Tsvetaeva*. Moscow: Ellis Lak. (In Russ.)
- Lubyannikova, E. (2014). About the nobility of the Tsvetaevs. In: V. Maslovsky, ed., *Tsvetaeva today – 2012. In honour of poet's 120-th birth anniversary. 18-th international conference*. Moscow: Memorial house of Marina Tsvetaeva, pp. 13-61. (In Russ.)
- Mets, A. (2014). *O. Mandestam: Chronicle of his life and work*. Moscow: Progress-Pleyada. (In Russ.)
- Mnukhin, L. and Saakyants, A., eds. (1994). *The collected works of M. Tsvetaeva (7 vols). Vol. 4-5*. Moscow: Ellis Lak. (In Russ.)
- Mnukhin, L. and Saakyants, A., eds. (1995). *The collected works of M. Tsvetaeva (7 vols). Vol. 6-7*. Moscow: Ellis Lak. (In Russ.)
- Mnukhin, L. and Turchinsky, L., eds. (2002). *Reminiscences of Marina Tsvetaeva by her contemporaries. Homecoming*. Moscow: Agraf. (In Russ.)
- Tereshin, D. (2017). Taking a closer look to get it right. *NG 'Ex Libris'*, 19 Jan. (In Russ.)
- Tsvetaeva, M. (1990). *Verses and poems*. Leningrad: Sovetskiy pisatel. (In Russ.)
- Tsvetaeva, M. and Pasternak, B. (2004). *The souls begin to see. Letters, 1922-1936*. Moscow: Vagrius. (In Russ.)
- Valbe, R., ed. (2008). *Life story, soul story. The collected works of A. Efron (3 vols). Vol. 3*. Moscow: Vozvrashchenie. (In Russ.)

Vidgof, L. (2012). *‘But I love my whore Moscow’*. Osip Mandelstam: the poet and the city. A guided tour. Moscow: Kastrel. (In Russ.)

## ‘Unique stylistics’ of the biographer, or the unsolvable Tsvetaeva

DOI: 10.31425/0042-8795-2018-3-84-122

### Tatiana M. Gevorkyan

Doctor of Philology

Independent researcher

(123 Hovsep Emin St., Yerevan, 0051, Armenia;

email: tatgev04@gmail.com)

**Abstract:** This critical review extensively discusses Ilya Falikov’s book *Marina Tsvetaeva. Harsh and gentle* [*Marina Tsvetaeva. Tooya nelaskovaya lastochka*], published in *The Lives of Remarkable People* series in 2017. Unlike other Tsvetaeva biographers, Falikov had access to a wealth of materials introduced in the past twenty years. Yet his attempt to produce the poet’s new biography is far from successful. The article points out numerous factual errors, including incorrect numbers of poems in the poetic cycles, mixed up dates and events, as well as careless and inaccurate citations, which, being the book’s systemic issue, works to distort Tsvetaeva’s image. Particularly disturbing are the biographer’s very arbitrary treatment of documentary sources, their biased selection and presentation, as well as unsubstantiated interpretations and ambitious claims.

**Keywords:** M. Tsvetaeva, I. Falikov, biography, factual material, genre-wise and stylistic incompatibility with the topic.

The article was received on 30 September 2017.